



## Андрей Антипин

*Антипин Андрей Александрович – прозаик, член Союза писателей России. Родился 19 августа 1984 года в селе Подымахино Усть-Кутского района Иркутской области. Окончил факультет филологии и журналистики Иркутского государственного университета. Автор четырёх книг прозы – «Капли марта», «Житейная история», «Русские песни», «Живые листья». Лауреат премии имени Леонида Леонова для молодых авторов журнала «Наши современник» (2010) и ежегодной премии журнала «Наши современник» за лучшую публикацию 2013 года, Международной литературной премии имени Ивана Гончарова в номинации «Ученик мастера» (2015) и Всероссийской премии «Молодой Дельвиг» (2015), Всероссийской литературной премии имени Виктора Астафьева (2020). Живёт в посёлке Казарки Иркутской области.*

### Родина

По ту сторону Лены – валы. Тянутся лентой вдоль реки. Когда-то лес на угоре свели под пашню. Годную древесину свезли на строительство, а пни, вершинник и прочий хлам столкнули тракторами в один ряд, под сопку, как бы очертив границу, за которую отступила тайга. Со временем всё это высохло. Издряхло. Обросло кустами шиповника, малины, смородины. Между ними светятся алым цветом лепестки иван-чая. От них такая печаль на сердце, как будто прямо сейчас упадёшь, и тебя поднимут на руки, отнесут и положат в дикую траву, под это низкое небо, а когда вернуться с подводой, тебя уже там не будет, даже следа не найдут...

А на дворе август. Поспела ягода. Из деревни на валы идут с вёдрами в руках и горбовиками за спиной. Мужики, бабы, дети. Из тайги – медведи. От деревенских – пестрота разноцветных пластиковых вёдер и шум. От медведей – ископанные муравейники и намятые в кустах поляны. От тех и других – тропы. Всё утро в молодом осиннике рядом с валами злобно тьявкает «звонок» – маленькая домашняя собачонка, которую кто-то взял с собой. Кто там – человек или медведь – неизвестно. Да это и неважно. Никто не обращает внимания. Дядя Коля-бабки-Варин сидит на колоде и рвёт рясную красную смородину прямо в горбовик, подсыпая листьев, чтобы досадить старухе, которой предстоит обдуть на противне и катать по яголке утиным пёрышком. Проходишь мимо в сторону лая – с самым серьёзным видом напутствует: – Поднимешь мохнорылого – гони на баб или на сенокосчиков!

...Кто-то скажет, что о чём-то таком писали тысячу раз, и что ничего в этом нет. Да, наверное. И писали, и ничего нет. Всё это так. Но бывает у русского в жизни, когда всё – впервые, ибо впервые – до слёз. Тогда увидишь иван-чай на месте вековой тайги – и многое узнаешь о жизни, о смерти, о наших стараниях. А услышишь родное словечко – и полюбишь свой народ, словно встретились на узкой тропинке. И вот уже небо не столько низкое, сколько близкое, и смородина, как встарь, рифмуется с Родиной, и рифма ничуть не истрёпанная, западает в душу и горит, как эти красные ягоды на валах по ту сторону Лены, по эту сторону Леты. Отныне если даже и упадёшь, всё это с кем-нибудь опять повторится, как и до тебя повторялось не раз! Пусть и следа твоего не останется, но будет жить эта печаль, а с нею и русский человек. И собака, как прежде, будет лаять в осиннике, и не ты, кто-то другой пойдёт на её лай, но вдруг остановится и поймёт, что всё это когда-то происходило. И улыбнётся, покусывая горькую травинку.

## Песня

Пробрело на пастбище деревенское стадо, харкнул выхлопной трубой трескучий мотоцикл пастуха, скрываясь в лугах за огородами, осела пыль на дороге – поехали с Петрованом за сеном.

Заезжали за телегой: кондовый пятистенок на фундаменте, янтарно-красные – из морёных лиственниц – столбы ворот с парадным двускатным козырьком, на каждой доске выбрана по краю изящная фасочка. Сбоку – кнопка электрического звонка, накрытая лоскутом резины. Петрован нажал – отворила женщина в цветном, напоила из ковша, а пока пили, вынула затычину – мощный деревянный засов. Ворота, как створки ларца, разомкнулись: подворье раздольное, ладное, с летней кухней-поваркой в центре, с собакой у амбара и гроздьями сверкающих склянок, надёрнутых на штакетник. С крыльцом – высоким, синим, остеклённым с боков, чтоб не секли дождь и снег! Живи, как говорится, и радуйся, имей жену, детей, не пей, не будь писателем, приходи с пашни – уставшим, но с толком прожившим день, сиди на пуфике у порога, закрыв глаза. И доча, шлёпая босыми ногами, подаст кружку молока с кремово-жёлтой пенкой по ободочку...

И снова меня разбередило: русский быт, старые наши избы, ум былой крестьянской жизни! Но и разрушение всего, невозможность окликнуть, придержать за рукав, поклониться в пояс и сказать: «Останься! Ноги мыть буду...»

Спасибо, день разгулялся по-летнему жаркий, с солнцем и облаками, с граем воробьиным и лаем собак. Уже не ночной влагой, а пылью пахло от вчерашней кошенины. Воздух гудел, живя жизнью тысяч насекомых. На луговине за перелеском, где когда-то были колхозные, после совхозные пашни, рокотал самодельный трактор с фанерной кабиной. Это Осипов

косил свою деляну. Косилочные ножницы блестели, нашлифованные, сквозь зелень никнувшей травы. Хотя какая зелень на солнечном юру – слёзы одни, лишь с большой площади и наберёшь, а чаще скребёшь пустоту, волоча ещё на корню иссохшие былинки или кудлы сваявшегося мышиного гороха с чёрными впалыми стручками...

Петрован, пока мы размётывали копны и сгружали в телегу, всё смотрел, как Осипов косит. Заметив, что меня привлекло его внимание к такой, в сущности, обыденной картине, смутился и, словно в оправдание себе, сказал:

– Милое дело – роторная косилка! Ею и этот сосновый подрост на пашнях скосить можно. Чё не можно-то? Скосить, так оставить, за год-два перегниёт – ещё даже лучше родиться будет. Рожь ли, пшеница. Попрёт, как на опаре...

Вывезли и отметали в сеновал первую телегу – собрались за второй, тем более что солнце было ещё высоко, да и погода позволяла. Но возница наш отлучался, а вернулся гораздо веселее, чем ушёл, вдобавок с неистребимым желанием высказать каждому встречному-поперечному, кто тот есть на самом деле. Словом, пока-а завели с ним, пьяненьким, заглохший и уже остывший «Беларусь», испробовав дюжину свечей зажигания, которые забрасывало топливом, так что исчезала искра; пока-а Петрован накурился до посинения, сидя на лавочке возле дома и бахвалясь тем, что просыпается первым в деревне, между тем как вшивая интеллигенция, вроде меня, вытряхивается из постели, когда все петухи осипнут; пока-а напился чаю у сеструхи, к которой его повлекло по какому-то якобы неотложному делу... «Смеркалось. Петрована всё не было...» – можно было бы написать в рассказе.

Рассказа, впрочем, тоже нет, притом что уже не раз и вставало, и садилось моё солнышко, и вместе с ним то подступала, то уходила не солоно хлебавши любимая с детства деревенская Россия. А я всё молчал, не находя слов ни для встречи

с ней, ни для расставания, и мучась тем, что нечем ответить мне на её избы, ворота, женщин, морс в запотевшем ковше, и больше всего боялся, что так-то вот однажды, если не захлебнусь в часы её прилива, то упаду с порванным сердцем, когда она снова станет отходить, и не спою её так, как могу, как надо, как обязан спеть и, может быть, ради этой песни живу на земле.

## Деревенская этимология

### 1

Плавали с Жекой Симоненко в Малиново – ловить щук. Лодку брали у тётки Раи Логиновой, которая и по сей день живёт на Береговой. Лодка была дырявой, мы с Жекой попеременно гребли или консервной банкой отчерпывали воду, и Жека с восторгом орал:

– Как в дуршлаге!

...Было нам тринадцать-четырнадцать. Спиннинги у нас были ещё советские, с поточенными пропускными кольцами, сквозь которые протекли многие километры лески. Расхлябанные инерционные катушки сбились, клинили в самый неподходящий момент и делали «бороду», как у нашего трудовика. Сама леска была толстой и грубой – легендарная «Клинская», не единожды, после бесплодных попыток её распутать, перебитая камнем, а от этого вся в узелках, как провод телефонной связи на поле боя. Увенчивали наши спиннинги внушительные медные или латунные блёсны из покупных наборов «Рыбалов-любитель». Тяжесть материала давала то преимущество, что даже в ветреную погоду блёсны не парусили при забросе; правда, при этом рыскали у дна и частенько цеплялись за камни и коряги. А щук в Малиново было столько, что редко мы возвращались берегом Лены без

самодельных куканов из талиновых рогулек. На такие мы обычно снизывали травянок – небольших молодых щук, а то и взрослых крупных с зубами-шильями и жабрами, как бритвы. Щуки, пока мы шли к лодке, блёкли на вечернем солнце и сохали, отчего выглядели меньше, чем были на самом деле. Но всё равно с парома, перевозившего доярок, нам кричали: – Куда рыбу деёте, рыбаки?!

Малиново на правом берегу, и в те годы на тамошнем угоре стояла летняя ферма, куда в начале июня переправляли часть совхозного стада, чтобы осенью, с наступлением холодов, доставить обратно. Рядом с фермой в реке водились щуки гнёзда, все об этом знали, в том числе мы с Жекой. Только нам не было ведомо, почему щуки табунятся здесь, а не где-нибудь ещё. Но дядя Миша Чупров, у которого мы заимствовали вёсла, как-то объяснил, что скисшее молоко доярки выливают в Лену...

А Малиновым это место назвали потому, что на буграх у леса много сладкой медвежьей ягоды.

## 2

За прошедшие десятилетия от Малиново сохранился лишь ориентир. Название забылось, хотя ягоды ещё полно, и летом ею лакомятся медведи, которых нередко видно прямо из посёлка. Фермы тоже нет. Но щуки, как заговорённые, скучиваются под тем же берегом...

Может быть, у рыб есть память и она длиннее, чем человеческая?

На рассвете того мглистого сентябрьского дня приехал на велосипеде, чтобы проверить сети. А меня позвали в дом, где в закутке, отгороженном задергушкой, на небольшой панцирной кровати лежала она, раззявив сухой рот. К нему раз за разом приближали зеркальце на оборотной стороне массажной щётки, поднимая потом на свет лампочки, и оно было незамутнённым, не отобразившим ничего, кроме молчания.

И когда проверял сети, и когда перегребал реку, взрезая вёслами воду, всё мне казалось противоестественным: и эти мокрые холодные сети, и несколько сорожек и окуньков, которых они принесли, и навязшая, донной затхлостью пропахшая тина, и длинная галечная коса с чахоткой кустов, красно плюющих на ветер, и низкое, в свинце и стелющемся дыме небо, куда отошла её душа и, может быть, глядела на меня уже из-под Его руки, между тем как её тленное тело, накрытое простынёй, ещё покоилось в одной из сибирских изб, вставших по речному угору.

К той поре в избах проморгались окошки, загорелись жёлтыми сокращающимися пятнами, и только одно скорбно чернело. И пока вытаскивал лодку на берег, пока примыкал к якорной цепи, вкопанной в угор, а затем шёл с вёслами, слушая скрип уключин, всё думал о том, что вместе со светом этого окошка ушла из моей жизни корневая Россия, забрав свои песни, свой язык, свою память, правду и сокровенную правоту – жить так, как на роду написано.

Вот бы и заплакать в голос, убежать с зажатыми ноздрями в лес, бродить весь этот хмурый осенний день в тёмном сыром ельнике. Но отчего-то, откуда-то, каким-то ветром из каких-то нестерпимо горьких печных труб наносило этим:

«Она жива! Жива! Жива!» И как это тревожное, ещё неясное чувство можно было связать с той, что ждала своего погребения в стылую северную землю?..

## 2

Фёдор Шаляпин, который при большевиках покинул Мариинский императорский театр и подался в частную оперу, уже в эмиграции вспоминал, что не ощутил разницы. Потому что Мариинский театр всегда был с ним, и он ушёл, унеся его в себе.

Вот и с ней так: ушла, но осталась навсегда со мной. И во всякую минуту жизни я могу доподлинно вообразить, что бы она сказала по тому или иному поводу, какими словами, с каким выражением лица, и даже то, чего не коснулась бы, на чём осеклась бы её речь, для меня не секрет. Мне наперёд известно, как бы она при этом себя вела, держала ли руки на коленях или копалась в карманах, проверяя сохранность каких-то своих маленьких заначек, либо перевязывала бы платок, подбивая волосы на висках, а не то наклонилась бы, подняла и отбросила острую щепку, чтоб никто ногу не наколол. В конце разговора она долго, как в последний раз, выдохнула бы, поёжась от одной ей ведомого холода, который в этот миг объял душу, а пошла бы проводить за ворота – первым делом заглянула бы в пустой почтовый ящик и виновато улыбнулась...

## 3

Бабушки нет уже несколько лет. Нет России моей лесной, синеокой. Но разве скажешь, что она умерла? Разве не её слова говорят во мне? Разве скрип не её палочки я слышу в проулке?